

# ЯНУШ ЛЕОН ВИШНЕВСКИЙ



## ЛЮБОВНИЦА

Полная версия культовой книги  
в новом переводе

Вишневский: просто о сложном

Януш Вишневский  
**Любовница**

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.162.1-31  
ББК 84(4Пол)-44

**Вишневский Я. Л.**

Любовница / Я. Л. Вишневский — «Издательство АСТ»,  
2019 — (Вишневский: просто о сложном)

ISBN 978-5-17-099723-7

«Любовница» – это пронзительные и поражающие своей неподдельной откровенностью рассказы, которые складываются в прихотливую мозаику, играющую цветами. Каждый рассказ – это маленькая жизнь, схваченная острым взглядом внимательного наблюдателя. Каждая история правдива, как фотография, и образна, как живопись. Это сборник виртуозных зарисовок, сделанных с натуры большим художником и знатоком человеческих чувств.

УДК 821.162.1-31  
ББК 84(4Пол)-44

ISBN 978-5-17-099723-7

© Вишневский Я. Л., 2019  
© Издательство АСТ, 2019

## Содержание

Аритмия	7
Синдром проклятия ундины	11
Anorexia nervosa[10]	20
Конец ознакомительного фрагмента.	28

# Януш Леон Вишневский Любовница

Janusz Wisniewski  
Ljubovica  
[www.wisniewski.net](http://www.wisniewski.net)

Серия «Вишневский: просто о сложном»



# ЛЮБОВНИЦА

Перевод с польского Ю. Чайникова

© Janusz Leon Wiśniewski, 2019

© Чайников Ю., перевод, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2021

## Аритмия

Полиуретановый катетер длиной около ста десяти сантиметров и сорок две десятых миллиметра в диаметре. К его концу прикреплен электрод в виде четырехмиллиметровой иглы. Каждый электрод имеет номер. На его электроде значилось: № 18085402350. Врачам в принципе не обязательно запоминать этот номер, но бухгалтеры в клиниках должны его знать, чтобы списать по статье «амортизация аппаратуры». Электрод утилизируется после трех процедур. В министерстве здравоохранения решили, что электрод можно воткнуть поочередно в три сердца и только после этого его можно «снять с баланса». В случае летального исхода снятие с баланса происходит на любой стадии эксплуатации сразу, автоматически и сопровождается «свидетельством о смерти пациента». Катетер обычно вводят в бедренную вену в правом паху.

У него была вздутая бедренная вена в правом паху. Я это отлично помню, потому что целовала это место много раз. Всегда, когда я касалась его там губами или языком, он накрывал мою голову ладонями, дрожал и шептал мое имя. В разных местах прикасался пальцами к моей голове, иногда нежно, иногда сильно прижимая их. Но только пальцами левой руки. Правой в это время гладил меня по волосам. Я никогда не спрашивала его, какой из скрипичных концертов в тот момент звучит у него в голове. Да и что толку спрашивать: он стал бы отрицать, чтобы не обидеть меня. Но это наверняка была бы неправда, ведь я всегда проигрывала в сравнении с его музыкой. В постели тоже.

Он даже когда раздевал меня, делал это так, будто доставал скрипку из футляра. Благоговейно, торжественно. Как скрипач, который гладит свой инструмент. Ласкает пальцами изящное старинное дерево, смахивая какие-то невидимые и только ему одному известные пылинки. Потом смотрит на нее. И этот его взгляд, наверное, – самое прекрасное. Вот так же он смотрел и на меня, обнаженную, как на свою скрипку перед большим и самым важным концертом. И хотя я знала, что этим концертом он меня приведет в восторг, выпьет до дна и опьянит, я понимала, что, даже когда он изольется в меня, он будет слышать при этом не мой крик и не мой стон, а какой-то чертов контрапункт. Такой уж он человек – даже постель была для него концертным залом.

Я чувствовала его дыхание, слышала вибрацию смычка, ровно проходившего по струне. Как будто он прокрадывался в душу и нежно дул на волосы. С этого момента все становилось общим: дыхание, время, воздух, тело. И не в тягучих альтовых звуках слышались тоска и страсть, а в быстрых, резких, сильных. Сначала солист, *piano*<sup>1</sup>, выводил тему. Наши взгляды встречались на середине зала, задавая друг другу темп, экспрессию, придавая колорит. Потом зазвучало *tutti*<sup>2</sup> оркестра, и лес смычков в идеально ровном темпе менял направление, напряжение возрастало тем быстрее, чем громче и стихийней соединялись все звучания. Наконец только он, скрипач, и я, в совершеннейшем созвучии, оба едва переводившие дыхание испытывали нечто незабываемое, абсолютно необходимое для утоления иссушающей жажды друг друга. С той только разницей, что я в конце пути сливалась в единое целое только с ним, а он – с последним тактом финала...

Катетер, вставленный через интродюсер<sup>3</sup>, помещенный в точке прокола бедренной вены, постепенно идет в направлении сердца. Сначала в правый желудочек, потом в правое предсердие. Оттуда он должен в результате пункции межжелудочковой перегородки пробиться в левое

---

<sup>1</sup> Тихо (*итал.*).

<sup>2</sup> Весь, все (*итал.*). Исполнение музыки полным составом оркестра или хора.

<sup>3</sup> Пластиковая трубка со встроенным гемостатическим клапаном, предотвращающим обратный ток крови.

предсердие. В левом предсердии его подводят к устью легочных вен и высокочастотным током разогревают конец до шестидесяти-семьдесят градусов Цельсия. Этого достаточно для того, чтобы вызвать микроповреждения в стенке легочной вены и, как они это называют, скоагулировать ее ткань, проще говоря, оставить шрамы, которые должны препятствовать распространению патологических импульсов, вызывающих аритимию, к сердцу.

Шрамы.

Шрам расползлся, когда я увидела его в первый раз. Два года тому назад.

В тот день я покинула общагу около четырех утра. Задержалась. Кто-то как раз приехал из Амстердама и привез «план». То ли я вина выпила слишком много и чересчур нанюхалась, то ли привезенная канабка была пропитана какой-то жесткой синтетической химией. Короче, похмелье было жуткое. Глухое, темное, безграничное пространство, перечеркнутое поперек широкой белой струей горячего молока, вливающегося мне в рот. Струя обжигала губы и небо, протекала через меня, задерживалась в пищеводе, проникала в грудь, вздымала ее, разрывая лифчик, и возвращалась, чтобы выстрелить фонтаном между бедер. Смешавшись с кровью, струя стала розовой. Я начала задыхаться и кашлять, не успевая сглатывать это молоко, и выбежала из комнаты. Пах разрывало от пронизывающей боли. У меня начались месячные. Напрямую через лесок, что окружал общежитие, спотыкаясь о наледи, я добралась до цивилизации, до улицы, до трамвая. Первый утренний воскресный трамвай...

Он сидел с закрытыми глазами, припав головой к заиндевевшему грязному стеклу и оставляя на нем неровный след теплого дыхания. Сидел в обнимку со скрипичным футляром. Как с ребенком на руках. Правую щеку пересекал широкий шрам. Трамвай тронулся. Я встала напротив него, не в силах оторвать взгляд от этого шрама. Наркотическая галлюцинация не проходила. Я, честное слово, видела своими глазами, как шрам медленно разрывается, раздвигается, и как разрыв медленно наполняется кровью. Я достала платок из кармана, встала перед ним на колени и приложила платок к шраму, чтобы сдержать поток крови. Он поднял веки. Дотронулся до моей руки, прижатой к его щеке. Какое-то время не отпускал ее, нежно поглаживая мои пальцы.

– Простите...

– Я задремал. Присаживайтесь.

Встал, уступая мне место. В пустом трамвае.

А когда трамвай пустой и на улице нет еще машин, он несется, как сумасшедший дом на колесах. При очередном торможении я упала на грязный пол и не смогла подняться с колен. Он заметил это. Осторожно положил скрипку под сиденье, обнял меня за талию и осторожно посадил на свое место. Потом снял кожаную черную куртку и прикрыл меня ею.

– Куда вам? – спросил он тихо.

– Домой, – ответила я, пытаясь перекрыть лязг тормозов останавливающегося трамвая. – У тебя шрам на щеке, – я улыбнулась, – но кровь больше не течет...

Мы вышли на следующей остановке. Он остановил такси. Проводил меня до самых дверей съемной квартиры.

На следующий день я поехала отдать ему куртку. Дверь открыла его мачеха. Он не заметил меня, когда я тихо появилась на пороге его комнаты. Стоял у окна спиной к двери, играл на скрипке. Неистово. Всем своим существом. А я слушала, не в силах оторвать взгляда от смычка в его руке. Я не в состоянии передать, что почувствовала в тот момент. Очарование? Душевную близость? Музыку? Я помню только одно: как изо всех сил прижимала куртку к себе и неотрывно смотрела на него.

Он кончил играть. Повернулся. Ничуть не удивился, что я в его комнате. Как будто знал, что я здесь стою. Подошел ко мне так близко, что я увидела капельки пота на его лице. Был как будто в трансе. Плакал.



– Только мать прикасалась к моему шраму так же, как вы тогда, в трамвае, – сказал он, глядя мне в глаза.

Через две недели мы перешли на «ты». А месяц спустя я не могла вспомнить свою жизнь «до него». Через полгода я уже сходила с ума, когда он выезжал со своим оркестром на гастроли и по несколько часов его мобильник был отключен.

28 июня, в субботу, он раздел меня в первый раз. Я глядела на свое отражение в его глазах, как принцесса в говорящее чудо-зеркальце. А он смотрел на меня, как на партитуру, пытаюсь прочесть...

В ту ночь я не испытала оргазма. Но и без него прекрасно знала, до каких восторгов он может довести меня. Я помнила эти свои восторги так, как помнят первый большой детский стыд...

В полночь 30 апреля он стоял, запыхавшийся, у двери моей съемной квартиры. Был мой день рождения. Он даже не спросил, хочу ли я с ним ехать. Такси ждало внизу. Он велел водителю остановиться около маленького костела на Мокотове<sup>4</sup>. Скрипка была с ним. Мы вошли через боковой неф в совершенно темный костел. Я испугалась, когда он оставил меня одну на лавке напротив алтаря. Зажег свечи на мраморной плите. Поставил ноты на один из подсвечников. Достал скрипку и встал под крестом. Зазвучала музыка. Это было даже больше, чем прикосновение. Это было проникновение. Я ощущала это физически и с каждым тактом все более явственно. В темном зале холодного пустого костела мне стало так жарко, что внизу у меня все ответило влажным теплом.

В течение процедуры абляции<sup>5</sup> легочной вены катетер с электродом находится в сердце несколько часов и его движение – и в кровеносных сосудах, и в сердце – видно на рентгеновском мониторе. Во избежание тромбно-эмболических осложнений уже за несколько дней перед процедурой пациенту дают средства, понижающие свертываемость крови. При направленной на легочную вену абляции редко ищут в сердце другие источники аритмии и коагулируют преимущественно лишь ткань легочной вены. Пациент находится в лежачем состоянии, но в сознании. Поскольку во время процедуры возможно возникновение предсердно-желудочковой блокады, в сердце вводится электрод для временной кардиостимуляции. В случае нарушения дыхания подключают аппарат искусственной вентиляции легких.

Часто, когда мы лежали, прижавшись друг к другу, я клала голову ему на грудь. Он нежно гладил мои волосы, а я слушала, как стучит его сердце. И никогда никакой аритмичности в биении его сердца я не слышала. Когда он засыпал, я часами смотрела на него – как он дышал, мягко и спокойно. Иногда на мгновение его дыхание учащалось, и губы слегка раскрывались. И тогда я хотела быть в его голове. Больше всего именно тогда...

Абляция – высокоэффективная лечебная процедура, но после нее могут снова произойти нарушения ритма. Если фармакологическое лечение не дает результата, процедура абляции может быть проведена повторно. Исключение составляет абляция устья легочной вены.

У него было больное сердце. Он скрывал это ото всех. И от меня тоже. Стыдился этого так же, как взрослеющие мальчики стыдятся мутации голоса или прыщей на лице. О том, что он болен, я узнала случайно. Он выехал на несколько дней с оркестром в Ганновер. Незадолго до сочельника. Нашего первого общего сочельника. Отец с мачехой и его сводной сестрой поехали на праздники в Швейцарию.

---

<sup>4</sup> Мокотов – район Варшавы.

<sup>5</sup> Хирургическое лечение аритмии.

Мы собирались встретить Рождество вдвоем в его квартире и на следующий день поехать к моим родителям в Торунь. Я купила елку и стала прибираться в его комнате. Собрала лежавшие на полу написанные его рукой партитуры и хотела убрать в ящик его стола. Не вышло: ящик доверху был забит розовыми распечатками электрокардиограмм. Общим числом триста шестьдесят! Полученными из больниц большинства польских городов. Но также из Германии, Италии, Чехии, Франции, Испании и США. Кроме того, там были выписки из нескольких больниц, счета за лечение на нескольких языках, два стетоскопа, неиспользованные рецепты, направления в клиники, диагнозы психотерапевтов и психиатров, копии заявлений о его согласии на процедуры восстановления сердечного ритма электрошоком, иглы для акупунктуры, надорванные упаковки с таблетками, распечатки интернет-страниц с информацией об аритмии и тахикардии.

С двенадцати лет у него были диагностированы приступы мерцательной аритмии. Только за то время, что я его знала, он прошел через восемь проведенных под общим наркозом процедур восстановления сердечного ритма электрошоком. Последний раз ему это делали в Гейдельберге, за две недели до того, как я обнаружила этот забитый распечатками с ЭКГ ящик. Его оркестр участвовал там в каком-то фестивале. Двенадцать часов он не звонил, я тоже не могла дозвониться до него. Потом сказал, что оставил мобильник в отеле. На самом деле все было совсем иначе. В палатах интенсивной терапии пациентам не разрешается пользоваться мобильниками, потому что они мешают работе аппаратуры. Из даты и часа электрокардиограммы следовало, что приступ аритмии имел место во время концерта.

В первый момент я было рванулась звонить ему, чтобы прокричать свой панический страх. Я чувствовала себя жестоко обманутой и преданной. И кем? Человеком, который знал обо мне больше, чем мой отец, знавший меня с пеленок, а тем временем какие-то там засранцы-врачи по всей Европе имели о нем информации больше, чем я! Хорошо, ничего не скажешь! Мне знаком вкус его спермы и при этом я абсолютно без понятия о том, что пропускают ему через сердце примерно раз в шесть недель!

Ну, допустим, я бы ему позвонила, только он все равно ничего бы не сказал. Я бы кричала в трубку, а он все равно не произнес бы ни слова. И только когда я начала бы плакать, он сказал бы: «Дорогая... Все не так. Просто я не хотел огорчать тебя. Это пройдет... Вот увидишь».

Я не хотела, чтобы ему казалось, будто он успокоил меня своим «это пройдет». Потому и не стала звонить. Я решила, что расспрошу его только тогда, когда смогу выложить перед ним эту кипу в триста шестьдесят электрокардиограмм. И пообещала себе, что не стану при этом плакать.

После ужина он расставил по всей комнате зажженные свечи, надел свой концертный фрак и играл для меня на скрипке колядки. Только в детских воспоминаниях о Рождестве я помнила себя такой беззаботной и счастливой, как с ним в тот вечер.

Ночью он встал с постели и пошел на кухню. Со стаканом воды подошел к письменному столу и выдвинул ящик. Я не спала и зажгла свет ровно в тот момент, когда он выпил таблетку.

– Расскажешь мне о своем сердце? – спросила я, дотрагиваясь до его шрама.

Через пять месяцев этот сукин сын кардиолог с набриолиненными волосами и званием профессора, делавший абляцию, убил его во время пунктирования межпредсердной перегородки по пути катетера из правого предсердия в левое, проткнув ему сердце и вызвав кровотечение в околосердечную полость – перикард. Убил его и поехал как ни в чем не бывало в отпуск. В Грецию. Через два дня после случившегося. Одной иглой проткнул две жизни и спокойно полетел загорать.

## Синдром проклятия ундины

Верить в Бога она перестала, как только узнала от матери, что никакого Бога нет.

Она в мельчайших подробностях помнит тот вечер, когда мать раздраженно объяснила ей:

– Мы не признаем таких суеверий как Бог. А при отце об этом даже не заикайся.

Тогда ей было шесть лет. Анита, ее одноклассница, говорила о том, как хоронили дедушку, который умер в Польше, что ксендз перекрестил покойника в гробу. Вечером она спросила маму, кто такой ксендз и почему он так сделал. И тогда мама впервые рассказала ей об «этих суевериях». До разговора с мамой ей казалось, что существует кто-то безгранично добрый, кому можно все тихо рассказать вечером под одеялом, так рассказать, чтобы слышал только Он. О чем? Да хотя бы о том, что случилось дома или во дворе. Вот кого она называла Богом.

Но мама права. Потому что мама всегда права. Еще не было случая, чтобы мама обманула ее.

С тех пор она больше ничего не рассказывала Ему под одеялом. Тогда она еще не знала, что такое «суеверия», но чувствовала – это что-то очень плохое, если об этом нельзя «даже заикаться» при отце.

Сегодня она думала, что больше всего Его не хватало вечерами, когда отец приходил домой пьяный. Начиналось всегда одинаково. Сослуживцы привозили его на хорошо знакомой всему району черной полицейской машине, иногда он выходил из машины сам, но, случалось, коллеги вели его под руки. Он колотил кулаками или бил ногами в дверь, будя всех на этаже, а потом вваливался на кухню, и орал на испуганную маму. Мама сидела, съежившись на косо-боком табурете у холодильника, молча уставившись в пол и изо всех сил сжимала кулаки, а он стоял над ней и орал. Просто орал. Иногда девочка пряталась под одеяло и плотно закутывалась в него, чтобы ничего не слышать. Пыталась вытеснить из ушей отцовский ор разговором с Ним, а разговору-то и было всего – чтобы отец перестал. И чем громче кричал отец на маму, тем громче она, дрожа и задыхаясь под одеялом, просила Его помочь.

Но Он ни разу не внял ее мольбе.

Ни разу.

Вот почему мама права: нету Его вовсе и это суеверие.

Потом она уже не пряталась в постели и не разговаривала с Ним. Сама нашла выход, как пережить отцовские приступы бешенства на кухне. Сначала она заводила и слушала музыкальные шкатулки, которые на каждый день рождения она получала в подарок от бабушки, потом – брала транзистор и пряталась с ним за шкафом, прильнув ухом к динамику. Но бывало, что не помогало и это. Потому что у отца голос был зычный, пронзительный, хорошо поставленный – ведь он целыми днями кричал на работе. Кричал на людей. Это он умел.

А раз было дело, когда она, уже не в силах всё это выдержать, включила пылесос, который мама держала в шкафу у нее в комнате. Помогло. На кухне враз стало тихо. Отец с бутылкой водки ворвался к ней в комнату и со всей дури выдрал шнур от пылесоса вместе с розеткой и куском штукатурки из стены. Стальной крепежный хомут контакта отлетел так, что попал прибежавшей вслед за отцом маме в голову.

Тогда, в тот вечер, мать впервые убежала вместе с ней из дома. Они бесцельно бродили по улицам Востока, а потом, когда стало холодно, сели в трамвай и ездили так всю ночь. Она – во фланелевой пижамке, а сверху только фиолетовая болоньевая ветровка, а на ногах – войлочные тапочки с меховой оторочкой, а мама – в не по размеру большом кожаном плаще и шерстяной шапочке, на оливковом поле которой проступали кровавые пятна. Мама не пошла в медпункт

обработать рану на голове. Жены ростовских полицейских, особенно жены офицеров штази<sup>6</sup>, не перевязывают ран.

В ту ночь она окончательно убедилась, что Его нет, что Он – суеверие.

Потом еще не раз они с матерью находили спасение в трамваях и на ночных улицах. У них были свои маршруты, свои любимые линии и план на всю ночь. И лишь когда новый день своей серостью начинал прогонять темноту ночи, они возвращались домой. Тихо открывали дверь, на цыпочках проходили через прихожую, быстро ложились вместе в постель в ее комнате и крепко прижимались друг к другу. Мама плакала. Отец к тому времени давно уже спал, чаще всего положив голову на кухонный стол или в одежде и обуви на кровати в спальне.

Однажды ночью трамвай увез их на городскую окраину. Они прошли по аллее к морю и любовались восходом солнца, сидели на обломках бетонного волнореза рядом с кучами щебня вокруг цеха старой сетевязальной фабрики, которая много лет пугала остатками разваливающихся стен. Когда-то давно, еще до того, как возник комбинат при верфи, там был рыбацкий порт. Про это место им рассказал вагоновожатый, который хорошо знал их, потому что они часто ездили в его трамвае по Росток. Он остановил трамвай, хотя там не было остановки, прямо у начала приморской асфальтовой аллеи и пообещал, что подождет их. В ту ночь они вернулись домой позже обычного. Когда она заснула, как всегда прижавшись к матери, с нею кое-что произошло, произошло впервые. Именно в ту ночь она впервые на краткое мгновение умерла во сне. Ей было тогда восемь лет.

Матильда знает, что никогда в жизни ей не удастся одной остаться на ночь с мужчиной. Ни с одним. Никогда.

Впрочем, это слово больше на нее не действует. Она давно уже поняла, что практически все «никогда» можно так или иначе объехать. Если бы дело обстояло по-другому, то она умерла бы еще ребенком, а вот уж дожила (вчера как раз был день рождения) до двадцати четырех.

Да и кто сказал, что дни с мужчиной не могут быть лучше, чем ночи с ним?!

Она ненавидит ночь. Терпеть не может захода солнца, темноты и Большой Медведицы перед жарким днем. Утро вечера мудренее, а день всегда лучше ночи. Ночи никогда не сравниться с днем.

Никогда.

А когда наберется несколько десятков «никогда», то очередное «никогда» уже не производит никакого впечатления.

Кроме одного-единственного НИКОГДА, которое она не может себе представить.

Того, что Якоб больше никогда не придет к ней вечером.

Якоб – самый важный для нее человек. Якоб всегда с ней, когда она засыпает, и всегда с ней, когда она просыпается.

Якоб уговаривает ее повернуться на другой бок. Просит вытянуть руки вдоль тела. Якоб не подглядывает за ней, когда она снимает лифчик и трусики и облачается в ночнушку или пижаму.

Якоб открывает и закрывает окна в ее спальне. Якоб следит за тем, чтобы на ее прикроватном столике всегда горел ночной светильник. И у него всегда есть запасная лампочка.

Но самое главное это то, что Якоб НИКОГДА не засыпает.

НИКОГДА.

Честное слово, никогда.

В том смысле, что до сих пор такого не случалось. А с нею он – и когда она засыпает и когда просыпается – вот уже шестнадцать лет.

И так каждую ночь.

Ей было восемь лет, когда он пришел к ним в первый раз.

---

<sup>6</sup> Министерство государственной безопасности ГДР.

И остался.

Теперь ей двадцать четыре. Якоб был и остается свидетелем всех главных событий в ее жизни. Он видел, как она пошла в первый раз в гимназию и не могла заснуть от волнения. Как от них с матерью ушел отец, оставив одних. Как мать проводила в комнате за стеной ее спальни ночь с ее отчимом, которого она ненавидит, несмотря на то, что он такой добрый и так заботится о ее матери. Был он и в ту ночь, когда пала Берлинская стена, и в ту ночь, когда родилась ее сестричка, а еще в ту ночь, когда она потащилась за Мадонной в Дахау.

И в ту ночь, когда у нее случилась первая менструация, он тоже был с ней. Это произошло во сне. Якоб заметил первый, потому что никогда не спит, когда спит она. Никогда. Она проснулась, почувствовав странное пульсирование внизу живота и сырость в постели. Когда она поняла, что произошло, расплакалась. От стыда. Якоб тогда взял ее нежно на руки, поцеловал в щечку, утер слезы и прошептал ее имя.

Отец тоже когда-то нес ее на руках и шептал ее имя. Давно это было. Она тогда была совсем маленькой. Он вышел с ней во двор, посадил на багажник старого мамино велосипеда, и они поехали кататься по окрестностям, где дорожки зияли ухабами, как после бомбежки. Она сидела на багажнике и что было сил держалась за отца, обхватив его за пояс. На очередном ухабе ее нога попала в спицы заднего колеса. Шмат кожи был содран со щиколотки так, что была видна кость, белый носок мгновенно стал красным от крови. Она чуть не потеряла сознание от боли. Отец, когда увидел, что произошло, остановился, подхватил ее на руки и, шепча ей на ухо ее имя, бежал к зданию около почты, возле которого была стоянка такси. В больнице ей наложили несколько швов. У нее до сих пор остался напоминанием о том дне синий шрам, меняющий летом свой цвет на красный. Но что на самом деле осталось у нее в памяти, так это дрожащий голос отца, несшего ее на руках к такси и шептавшего ее имя – «Матильда».

«Матильда» – шептал и Якоб в ту самую ночь, когда у нее случилась первая менструация. А потом достал из шкафа и принес в спальню чистую простыню. Ей было так стыдно. Ужасно стыдно. А потом из-за этого стыда она плакала под одеялом. Но Якоб всё равно заметил, что она плачет. Потому что видел, как ее сердце сжимается и разжимается по-другому, спазматически. Оно всегда так себя ведет, когда человек плачет. Якоб заботился о ее сердце больше всего. Регистировал все его удары. И знал о нем всё. Носит с собой в портмоне ее кардиограммы. Вместе с ее фото. Всегда самые последние. Бережно обернутые в целлофан, чтобы не истрепались.

Та ночь выдалась особенной. Она не сомкнула глаз до самого утра. Первоначально охвативший ее стыд прошел, ее переполняло возбуждение и какое-то нетерпение: она не могла дожидаться наступления утра. Якоб конечно заметил, что она не спит. Утром она побежала в школу раньше обычного. Стояла рядом с раздевалкой и ждала Аниту. Хотела с ней поскорее поделиться новостью. Она помнит, как ее распирала гордость и как ей хотелось поделиться этой гордостью со своей лучшей подругой. Она чувствовала, что в эту ночь как бы перешла некую границу. Границу между детством и взрослой жизнью. И хотя ее готовили к этому – обсуждали в школе в мельчайших деталях уже в третьем классе начальной школы, – так и не смогли вдолбить, что это нечто чисто физиологическое, естественный и простой порядок вещей. Тогда это стало для нее событием в значительной степени эмоциональным, и даже немного мистическим, и она тогда думала (хотя, когда она вспоминает всё это сейчас, ей даже смешно), что никакая это не физиология, а акт Высшей воли, благодаря которому она возродилась к новой жизни. Естественно, что тогда она, тринадцатилетняя, не была настолько умной, чтобы описать случившееся как «акт Высшей воли», но теперь-то понимает, что именно этот термин точнее всего передает всё то, что она тогда ощутила.

Кроме того – хотя, может, это и странно – те чувства, которые она испытала во время первой менструации, сегодня она помнит отчетливее, чем те, что были во время первого поцелуя. Может быть, из-за стыда, что Якоб оказался свидетелем этого события. А еще она помнит,

с каким нетерпением ждала тех, первых менструаций, приходивших с потрясающей регулярностью и дававших ей ощущение принадлежности к взрослым женщинам и утверждавших ее в нем. Тогда, в те первые три или четыре месяца, ей нравилось всё в этом ежемесячном ритуале. Даже боли внизу живота она переносила с чувством некоей избранности, что «у нее вот уже, а у некоторых одноклассниц еще нет». Недавно она в очередной раз перечитывала дневник Анны Франк и ничуть не удивилась, что та с гордостью описывала свои первые менструации. Потом восторг от этого аспекта женственности конечно прошел и ему на смену пришла тягостность и мучительность ПМС с головной болью, плаксивостью, горящим лицом и болями в груди.

Якоб тоже понял, что в ту ночь она преодолела некий рубеж. На следующий день он пришел к ней с визитом, официально, утром, а не как обычно под вечер. Пришел с цветами. В костюме. При галстук, галстук немодный – узкий, кожаный. И был таким непривычно-торжественным. От него исходил аромат какого-то незнакомого парфюма. Принес огромный букет голубых незабудок – а что, весна на дворе! – и без лишних слов поставил его в вазу на подоконнике в ее комнате. Поцеловал ее руку. Она была тронута.

Она всегда ждала Якоба вечером, но с той ночи и последовавшего за той ночью дня с цветами на подоконнике она ждала его по-другому. Она и сейчас не смогла бы это объяснить, но тогда ей просто хотелось засыпать при нем благоуханной, аккуратно причесанной и в красивом белье.

Якоб знает всё не только о ее сердце. Но и о ее крови. Он знает, сколько в ней кислорода, а сколько углекислого газа, сколько гемоглобина, а сколько креатинина<sup>7</sup>. Знает он и какова ее температура. Поэтому, когда она влюбится, Якоб наверняка сможет это заметить, замерить и даже зарегистрировать.

Потому что по-настоящему она еще, наверное, не была влюблена. А то, что было с Кристианом, восемь лет назад, какая ж это любовь. Даже несмотря на то, что тогда именно с Кристианом у нее был первый в жизни поцелуй. Двадцать восьмого июня, в субботу. Кристиан уже в марте влюбился в нее. Это было ясно для всех ее одноклассниц. Только не для нее. А он такой нежный, утонченный и впечатлительный, хотя учился в профессионально-техническом училище, а она – в лучшей гимназии в Ростке. Не зная, как доказать ей свою любовь, парень решил погасить сигарету о собственную руку, а вдобавок – подарить ей свой ученический билет. Но однажды она увидела его пьяным и больше не захотела встречаться. Парень с этим не смирился, постоянно приезжал к ней, часами выстаивал под ее окнами. И писал письма. В одном из них было нарисовано сердце, один маленький уголок которого занимала надпись «Родители», второй маленький уголок – название местной футбольной команды, а всё остальное место громадного сердца – написанное красным карандашом ее имя – «МАТИЛЬДА». Он писал ей больше двух лет. А она ему так и не ответила.

А ведь ей так хотелось влюбиться в кого-то. И быть с ним всегда и не получать от него писем. Потому что какие могут быть письма, если люди никогда не расстаются.

И чтобы этот кто-то был немножко как Якоб.

Якоб еще только раз, один-единственный раз, сколько она его знает, надевал костюм и галстук. Когда они поехали вслед за Мадонной в Дахау. Это была суббота. Ее день рождения. Самый важный из всех дней рождения – восемнадцатилетие. Вроде обычный, как всегда. Завтрак, цветы, подарок от мамы и отчима. Несколько телефонных звонков с поздравлениями. Только от отца не было. И тогда подъехала машина. Точно в полдень. Из машины вышел Якоб. Одет празднично: костюм, узкий кожаный галстук. Подошел к ней, поздравил и сказал, что берет ее на концерт Мадонны. В Берлин. И так спокойно, вроде как Берлин – это совсем рядом, тут же, за парком в Ростке.

<sup>7</sup> Продукт распада белковых молекул в мышцах.

Ей очень хотелось побывать на концерте. И она очень любила Мадонну. Она не могла поверить, когда Якоб просто встал перед ней в прихожей и спросил:

– Ну что, едем?

Мама и отчим давно уже всё знали, только хранили молчание. Она не могла сдержать слез.

Якоб знал, что после концерта им придется заночевать в Берлине. Целых три месяца он организовывал с больничной кассой и с клиникой в Берлине прокат аппаратуры. За два дня до ее дня рождения он отправился ранним утром в Берлин и установил аппаратуру в гостиничном номере. К вечеру он вернулся и провел ночь, как всегда, рядом с ней.

На концерте собралось сорок тысяч человек. Якоб стоял рядом и прыгал – в костюме и галстук – вместе с ней и со всей толпой. Какое-то время они держались за руки. А когда Мадонна вышла на четвертый бис, она повернулась к нему и поцеловала в щеку. Никогда еще она не была так счастлива, как в тот вечер.

На следующий день они потащились вслед за Мадонной в Дахау. Она знала привычку газетчиков всё преувеличивать, но ее растрогали заметки о том, что «Мадонна навестит Дахау». Впрочем, не в полном смысле слова «вслед» за Мадонной, потому что та полетела на своем вертолете, а они поехали в тот день на машине. Вообще поехать туда была идея Якоба.

Она, конечно, знала о концлагерях, им рассказывали в школе. Много слез пролила она за чтением дневника Анны Франк, который ей подсунула бабушка, мать отца. С тех пор как пала Берлинская стена, о лагерях чаще и подробнее стали говорить в школе. Она читала о них всё, что только удавалось достать, и какой-никакой образ от чтения оставался, но это был образ абстрактный, умозрительный, позволявший не забивать себе голову тем, что это сделали немцы и никто другой. Но на этот раз всё было очень даже не абстрактно. Бараки, пробитые снарядами стены с начертанными на них крестами и звездами Давида, поминальные светильники на каждом шагу, цветы, лежащие на тележках возле костров, цветы, привязанные ленточками прямо к колючей проволоке, печные трубы и тысячи фотографий на стенах. Стриженные головы, изможденные лица, слишком большие глазницы, и две цифры – возраст и лагерный номер в нижнем левом углу. Шестнадцать лет, семнадцать лет, пятьдесят четыре года, двенадцать лет, восемнадцать лет...

Как только они переступили порог Дахау, она сразу поняла неуместность любых разговоров, любых слов: она чувствовала присутствие душ всех погибших здесь, и всё время дрожала от страха и чувства вины. Она. Восемнадцатилетняя. И всё же Якоб, вопреки всем ее страхам, встал перед ней и рассказал о детишках и подростках, погибших в газовых камерах Дахау. Называл ей цифры и даты. А в конце вроде как успокоил, сказав, что души этих девочек и мальчиков не стареют. Прямо так и сказал. Что они остаются молодыми и что сегодня вечером устроят встречу за бараками или возле крематория и будут делиться радостью друг с другом: «Эй, вы слышали, к нам сегодня приезжала Мадонна. Сама Мадонна...»

Меня зовут Матильда.

Якоб знает всё обо всём. О звёздах, о химии, о датчиках и предохранителях, о психологии созревания девушки. Но самые большие и глубокие его познания – о сне. Несмотря на то, что вот уже шестнадцать лет он спит только днем, почти всё знает о сне ночью. Он называет Сон родным братом Смерти. Давным-давно, когда я была совсем маленькая, он рассказывал мне об этом. Выключал свет, зажигал свечи и читал стихи Овидия о Сне, отраженном в зеркале, за которым стоит Смерть. Жутко, но мне это очень нравилось. Сам по себе Якоб вряд ли додумался бы рассказывать такие страсти, но моя психотерапевтка, которая переехала в Росток с запада страны, считала, что меня следует подвергнуть, как она говорила, «конфронтации с парадоксом». Когда Якоб узнал об этом ее решении, он психанул и разразился бранью на нижнесаксонском диалекте. Он всегда переходит на этот диалект, когда теряет контроль над

собой. На следующий день он не вышел на работу в дом престарелых, а поехал к этой моей психотерапевтке. Прождал в приемной четыре часа и всё ради того, чтобы сказать ей, что она «феноменально глупая, такая же невежда, как и все понаехавшие с запада пижоны, а вдобавок – жестокая, жестокая, жестокая». Она выслушала его, внимательно... и он пробыл у нее два часа. Вернулся преображенный и уже через пару ночей стал читать мне Овидия. Иногда Овидия сменяли немецкие сказки. В них тоже Сон и Смерть – брат и сестра.

Каждый раз Якоб приходил с карманами, набитыми предохранителями. А в последнее время стал приносить еще и два мобильника.

Всегда два. Потому что Якоб должен быть уверенным больше, чем на сто процентов.

Вот и в подвале он собрал устройство бесперебойного электроснабжения. Два месяца носил какие-то детали, увешал все стены схемами, чертежами и внимательно изучал их. Каждый раз после бессонной ночи оставался, закрывался в подвале и собирал его. Так, «на всякий случай, если бы вдруг отключилось электричество на районе». Собрал, но всё равно не был уверен ни в надежности городских электросетей, ни в своем устройстве.

Его понять можно: он хочет иметь полную уверенность, что мы проснемся вместе. В смысле оба. И что и Овидий, и германский эпос, которые он мне читал, это всего лишь сказки. Потому что мы всегда просыпаемся – и он, и я.

А часто и вовсе не спим, а рассказываем друг другу разные истории. Иногда, когда я попрошу его, Якоб рассказывает о том, как прошел его день и о своих бабулях-дедулях из домов престарелых или о тех, что живут в обычных многоэтажках. Этим последним, говорил Якоб, приходится гораздо хуже, даже если в их распоряжении три комнаты, цветной телевизор, уборщица, социальный работник, который ходит в магазин, и кровати с электрической регулировкой высоты, а еще ванная с поручнями. Одиноко им. Очень одиноко. Забросили их дети, занятые работой, своей карьерой, у них нет времени на то, чтобы родить и воспитать внуков, которые могли бы время от времени забегать к бабушке или к дедушке и разгонять это одиночество. В доме престарелых тоже нет внуков, но там всегда можно хотя бы поругаться со старичьем из комнаты, допустим, номер тринадцать. Поругался, пообщался, и вроде не так одиноко себя чувствуешь.

Иногда Якоб говорит просто невыносимые вещи о своих подопечных бабулях-дедулях. Как-то раз сказал мне, что Бог, наверное, ошибся, перепутал направление хода времени. Он считает, что люди должны родиться прямо перед смертью и жить до своего зачатия. В обратном направлении. Ничего страшного: и умирание и рождение – разные части одного процесса – жизни, а в плане биологической активности они друг другу не уступают. По его теории, люди могли бы родиться за миллисекунды перед кончиной. И тогда у них в самом начале такой жизни была бы их житейская мудрость, опыт и спокойствие. Они бы уже совершили все свои жизненные ошибки и предательства, уже имели бы на теле все свои шрамы и морщины, а в голове – все воспоминания, и жили бы со всем этим жизнью, направленной в другую сторону. Их кожа становилась бы всё глаже, с каждым днем в них просыпалось бы всё большее любопытство, всё меньше седины было бы в волосах и всё больше блеска в глазах, сердце становилось бы более сильным и готовым как для новых ударов судьбы, так и для новой любви. А потом, уже в самом конце, который в нашей теперешней жизни считается началом, они исчезали бы из этого мира не в печали, не в страданиях, не в отчаянии, а в экстазе зачатия. То есть в любви.

Вот какие фантастические вещи иногда рассказывает мне мой Якоб, когда мне не спится.

Якоб он такой, с ним я могу говорить обо всём... Однажды что-то нашло на меня после того, как мама сообщила, что у меня будет сестренка, и мы весь вечер проговорили о моем отце и моей маме. Я тогда сказала ему – не могу представить себе, что когда-то моя мать была без ума от мужчины, который стал моим отцом. Может, даже занималась с ним любовью на ковре, или в лесу на лужайке. И поклялась у алтаря, что будет с ним всегда, и что они всегда



будут держаться за руки на прогулке... А он после всего этого смог орать на нее, когда она, съездившись от страха, сидела на деревянном стульчике у холодильника.

В ту самую ночь Якоб рассказал мне, почему он хромает.

По профессии он астрофизик. Он точно знает, как рождаются звезды, как они расширяются, как взрываются, как превращаются в суперновые или становятся пульсарами. А еще он знает, как они умирают, сжимаясь до столь малых размеров, что становятся ужасными и опасными для галактики черными дырами. Так вот, Якоб всё это знает. Он может с закрытыми глазами перечислить туманности, названия и координаты главных звезд и сказать, каково расстояние в световых годах до самых красивых или самых важных звезд. И так он рассказывает обо всём этом, что аж дух захватывает. А когда он при этом еще и заводится, то становится такой возбужденный, что непроизвольно переходит на этот свой смешной диалект. Представляете, о суперновой и о пульсарах на нижнесаксонском диалекте!

Якоб изучал свои звезды в университете Ростoka. Ездил в обсерваторию, что на берегу Балтийского моря, и днями и ночами смотрел в телескоп и радиотелескоп на небо, а потом писал разные научные статьи и диссертацию. Очень переживал, что не получилось поехать в Аресибо и поработать на самом большом радиотелескопе в мире, посетить конгресс в США или хотя бы во Франции. Не мог смириться и с тем, что в институте нет ксерокса и что на четверговом семинаре больше говорят об идеологии, а не об астрономии. Поэтому он согласился, чтобы среди всей этой электроники в обсерватории его друзья из евангелического общества установили маленькую радиопередающую станцию и время от времени влезали в программы местного телевидения с короткими – на несколько секунд – клипами о «свободной ГДР». Такое смешное, банальное, абсолютно безвредное оппозиционное ребячество. Никто не должен был обнаружить, что передатчик находится в обсерватории. Потому что она посылает такие сильные сигналы, что никакой спец по радиопеленгации из штази не сможет вычленивать «вражеский голос» из потока радиосигналов, посылаемых обсерваторией.

Смогли. А то как же. И произошло это двадцать первого ноября, в День Покаяния, один из самых важных праздников у христиан-евангелистов. Побили семидесятилетнюю вахтершу. Всем надели наручники. Сняли со стены огнетушитель и уничтожили всё, что имело монитор. Мониторы под ударами красного огнетушителя взрывались один за другим. Из считывающих устройств вынимали кассеты и выдирали из них пленки с данными, словно новогодний серпантин. А там диссертации, планы, семинары, публикации, годы работы и будущее многих людей – все это они вытаскивали и рвали в клочья.

Потом отвезли всех скованных наручниками в подземную тюрьму возле Ратуши в центре Ростoka. Вахтершу отпустили через двое суток, когда ей стало настолько плохо, что пришлось старушку везти в больницу. Директора обсерватории, диабетика, отпустили через три дня, когда кончился инсулин. Остальных продержали две недели. Без ордера на арест, без права на адвоката, без права на телефонный звонок жене или матери. Целых две недели.

Якоба допрашивал начальник отделения народной полиции. С самого утра пьяный, но исключительно педантичный. Свою работу он считал ничем не хуже любой другой, скажем, работы бухгалтера или кузнеца. Вот только кузнец бьет тяжелым молотом по раскаленному куску железа, а этот – тяжелым сапогом по почкам, по спине, по голове. Но прежде чем ударить, наорет, собьет с табуретки на серый, весь в каких-то пятнах линолеум и только тогда уже бьет. А еще он бил по бедрам. Ноябрь тогда выдался на редкость холодный, и начальник успел перейти на тяжелую зимнюю обувь. Вот Якоб и получил роковые удары по бедренному суставу и по почкам. С кровотечением справились, а вот с суставом уже ничего сделать не смогли, как потом объяснили ему хирурги. С тех пор он и хромает, и «всё в его теле, где только есть кости», у него ломит при каждой перемене погоды. Через две недели их выпустили. Отобрали пропуска, уволили с работы и велели идти домой, а «лучше сразу на пенсию».

Так вот, начальником отделения народной полиции с незапамятных времен вплоть до падения Берлинской стены был мой отец. Это он двадцать первого ноября избил Якоба, отстранил его навсегда от радиотелескопов и звезд, покалечил бедренный сустав и исковеркал биографию, а потом вернулся пьяный домой и наорал на кухне на мою маму.

И тогда безработный и «взятый органами на карандаш» Якоб стал искать работу в больницы кассе и домах социальной опеки по уходу за лежачими стариками. Только там готовы были взять его на работу и то при условии особого поручительства. Его, хромого астронома с недописанной диссертацией, на ответственную работу – выносить утки из-под лежачих больных. Так он вышел на меня. Шестнадцать лет тому назад. И вот уже шестнадцать лет мы каждую ночь вместе.

Должна ли я благодарить за это моего отца, начальника отделения народной полиции?

– Якоб, скажи, должна ли я быть благодарна моему отцу, что у меня есть ты? Скажи мне, пожалуйста, – попросила я его, когда он кончил свой рассказ. Я смотрела ему прямо в глаза. Он отвернулся, делая вид, что смотрит на один из осциллоскопов<sup>8</sup>, и ответил, казалось бы, ни к селу ни к городу:

– Видишь ли, Матильда, все мы созданы для того, чтобы воскреснуть. Как трава. Мы воспрянем, даже если по нам проедет грузовик.

Что есть, то есть – иногда Якоб говорит бестолково, но зато так красиво получается. Как и в тот раз, когда однажды вечером мы вернулись к теме Дахау, и он вдруг сжал кулаки и процедил сквозь зубы:

– Ты знаешь, о чем я мечтаю? Знаешь, Матильда? Я мечтаю о том, чтобы когда-нибудь клонировали Гитлера и поставили перед судом. В Иерусалиме – один клон, в Варшаве второй, а в Дахау третий. Вот о чем я мечтаю.

Такие истории рассказывает мне вечерами Якоб. Потому что мы разговариваем обо всём. Только о моей менструации не обмолвились ни словом... Правда, с тех пор много времени прошло, и Якоб больше не держит меня за руку, когда я засыпаю. Потому что Якоб мне не любовник.

О том, что Якоб виделся с ее отцом, она узнала лишь через несколько лет после их встречи, которая произошла в ту самую ночь, когда пала Берлинская стена, и все, немного обалдев, ломанулись на Запад хотя бы затем, чтобы убедиться – всё, демократия, свобода, в них не станут стрелять. Полчаса поучаствовать в европейской и мировой истории и сразу домой, дома надежнее. Поменять восточные марки на дойчмарки, купить немного бананов, помахать рукой в камеру какой-нибудь телевизионной станции и быстро вернуться домой, на Восток. Потому что Запад это, по-честному, даже сегодня, всё еще другая страна, и по-настоящему ты чувствуешь себя дома только на Востоке.

Ее отец знал, что дело не кончится этими тридцатью минутами свободы и бананами. Потому и боялся. Очень боялся. А увидев по телевизору, как «Трабанты»<sup>9</sup>, минуя Чекпойнт-Чарли и Бранденбургские ворота, едут ПРЯМО ТУДА (!), затрясся каждой клеточкой своего существа. Он напился в ту ночь – на сей раз не из-за верности к пагубному пристрастию, а со страху – и в этом пьяном виде по старой, видать, еще привычке, по непонятной ностальгии, ему захотелось вернуться к холодильнику на кухне, к своей жене. И неважно, что вот уже много лет эта кухня не была его кухней, холодильник не был его холодильником, а эта женщина – его женой. Он позвонил в дверь. Ему открыл Якоб, который пришел следить за ее осциллоскопами и сенсорами. Хромым, он доковылял с покалеченной ногой до двери, открыл и сказал: «Входите». И этот сукин сын начальник отделения, ничего не сказав, вошел и как

---

<sup>8</sup> Прибор для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала.

<sup>9</sup> Марка восточногерманских микролитражных автомобилей.

обычно поперся на кухню. Сел на кособокий табурет у холодильника и заплакал. И тогда Якоб спросил его, не желает ли он чаю, «а то на улице так холодно», и поставил чайник.

Меня зовут Матильда.

Я не совсем здорова.

Якоб говорит, что я не должна так говорить. Он считает, что у меня просто «временные трудности с дыханием». И что это пройдет.

Эти «временные трудности» у меня уже шестнадцать лет, но Якоб говорит, что пройдет. Все шестнадцать лет так говорит. Даже верит в это. Потому что он всегда говорит только то, во что верит.

Когда я не сплю – дышу точно так же, как и Якоб, как все. А когда я засыпаю, мой организм «забывает» дышать. Якоб говорит, что никто не виноват, что это генетика.

Я не могу спать без устройств, которые заставляют мои легкие работать.

Поэтому мне аккуратно разрежали живот и вшили электронный стимулятор. Маленький такой. Его можно нащупать, прикоснувшись к моему животу. Он посылает электрические импульсы к нерву в моей диафрагме. И благодаря этому она поднимается и опускается даже тогда, когда я засыпаю. Если человек не болен синдромом Ундины, то такой стимулятор ему не требуется. Мне немного не повезло с генами, и потребовался стимулятор.

Стимулятор надо постоянно контролировать и регулировать его импульсы.

И следить за его работой. Поэтому на моем теле установлены самые разные датчики – на пальцах, на запястьях, под грудью, на диафрагме и в самом низу живота. Якоб заботится даже о том, чтобы датчики радовали глаз. Купил лак для ногтей и раскрасил датчики в разные цвета. Так, чтобы они гармонировали с цветом моего белья или ночных сорочек. Теперь мои датчики разноцветные. Иногда, когда бывает холодно, Якоб согревает их в ладонях или дыханием, и только потом ставит на меня. Тогда они уже теплые и к ним приятно прикасаться. Отводит взгляд, когда я поднимаю лифчик и приспускаю трусики, устанавливая датчики под сердцем или внизу живота. Ему остается только следить, чтобы был контакт и эти зеленые, черные, красные и оливковые штучки передавали импульсы.

Я не могу спать в поезде, не могу спать перед телевизором. Я не смогла бы заснуть ни в чьих объятиях. Я не могу заснуть без Якоба. Я не смогу также заснуть с моим мужчиной, если Якоба не будет в соседней комнате за мониторами. Потому что он следит за работой этих устройств. Вот уже шестнадцать лет. И так каждую ночь.

Жила-была нимфа. У нее был любовник. Любовник оказался неверным, и она, не в силах перенести измену, прокляла его, пожелав ему смерти. Но поскольку она продолжала любить его, то попросила смерть прийти к нему во сне, чтобы он ничего не заметил и просто перестал дышать. Так оно и случилось. Юноша умер, а нимфа плачет, и будет плакать до конца времен.

Звали ту нимфу Ундина.

Моя болезнь называется синдромом проклятия Ундины.

В Германии примерно пять человек в год узнают, что страдают этой болезнью. Я об этом узнала, когда мне было восемь лет, на следующий день, когда, прижавшись к маме, чуть было не умерла во сне.

Иногда мы зажигаем свечи и слушаем музыку, тогда Якоб становится сентиментальным и в шутку, наверное, называет меня своей принцессой. Что-то в этом есть. Я на самом деле словно лежащая в хрустальном гробу спящая царевна. Когда-нибудь придет принц и разбудит меня поцелуем. И останется со мной на ночь. Но и тогда в соседней комнате за мониторами будет сидеть Якоб.

Мой Якоб.

## Anorexia nervosa<sup>10</sup>

Первый раз она увидела его на Рождество. Он сидел на бетонной плите рядом с их помойкой и плакал.

Отец с минуты на минуту должен был вернуться с дежурства в больнице; они уже собирались сесть за праздничный стол. Не могли дождаться. Шипевший на сковороде карп (какой волшебный аромат разливался по всей квартире!), колядки, елка у покрытого белой скатертью стола. Так уютно, тепло, по-домашнему и спокойно. Нет ничего лучше, чем Рождество.

Только ради этого праздничного настроения, и еще чтобы сохранить «семейное согласие и гармонию», она не протестовала, когда мать попросила ее вынести мусор. На Рождество есть вещи обязательные – елка, карп, утром парикмахер, а вот мусор – дело совсем необязательное. Нет такого мусора, который не сможет подождать до завтра! Тем более сейчас, когда на дворе уже темно! Да и удовольствие ниже среднего – еще раз посетить эту омерзительную вонючую дыру, их помойку.

Но для ее матери даже Рождество не было поводом отступить от установленного распорядка. «День должен проходить по плану» – вот ее жизненная установка. Рождество – тот же день, с той лишь разницей, что он обозначен красным цветом в ее органайзере. И никакого значения не имеют ни Иисус, ни надежда, ни рождественская месса, если они не внесены в расписание. Абсолютно никакого. «Записаться на Рождество к парикмахеру на 11:30» – прочитала она случайно на листке за восемнадцатое октября. В середине октября человек уже думает о том, чтобы записаться к парикмахеру на Рождество! Даже баварцы до такого не дошли! Эта ее чертова записная книжка как расстрельный список на текущий день – думалось ей иногда.

Как-то раз они разговорились с матерью о Рождестве. Это было когда они еще разговаривали о чем-то более важном, чем список покупок в продуктовом за углом. Незадолго до выпускного в школе. Она тогда переживала период запойного увлечения религией. Впрочем, то же самое происходило с половиной женской части их класса. Они ходили на лекции в Теологическую академию (хотя некоторые – только из-за того, что были влюблены в красивых семинаристов), учили молитвы, принимали участие в академических церковных службах. Она чувствовала, что стала лучше – более спокойной и такой одухотворенной благодаря этому контакту с религией.

Именно тогда, когда в один из дней во время предпраздничного мытья окон они стояли рядышком, чуть не касаясь друг друга, она спросила мать, случалось ли ей переживать «мистическое» ожидание Рождества Божия. Сейчас она понимает, что выбрала неудачный момент для своего вопроса. Потому что во время уборки мать всегда была на взводе, а такой она была потому, что считала все эти праздники пустой тратой ценного времени и никогда не понимала, как все эти домохозяйки не впадут в депрессию после недели такой жизни. Она помнит, что мать положила тряпку на подоконник, сделала шаг назад, чтобы прямо смотреть ей в глаза, и сказала тоном, каким обычно обращалась к студентам:

– Мистическое ожидание? Никогда. Ведь в Рождестве Христовом нет никакой мистики, доченька.

Помнит, что даже в этом ее «доченька» не было ни капли тепла, что, впрочем, не было новостью. Обычно после такой «доченьки» в конце фразы она шла к себе в комнату, закрывалась и плакала.

– Сочельник и Рождество – это, прежде всего, элементы маркетинга, рекламы. Как бы иначе сын плотника из отсталой Галилеи смог стать идолом, сравнимым с этими твоими Мадон-

---

<sup>10</sup> Нервная анорексия.

ной и Майклом Джексон? Весь его отдел рекламы, эти двенадцать апостолов вместе с самым медийно талантливым Иудой, это пример одной из первых хорошо организованных кампаний по созданию настоящих звезд. Чудеса, толпы женщин, готовых в воздух чепчики бросать по первому же его знаку, тащатся за своим идолом из города в город, массовые истерии, воскрешения из мертвых и вознесения на небеса. У Иисуса, если бы он жил в наше время, был бы агент, юрист, интернет-адрес и интернет-сайт.

Возбужденная своими выводами, она энергично продолжала:

– У этих ребят была стратегия. Возьми, почитай Библию – там всё это описано в подробностях. Без хорошей рекламы невозможно сокрушить империю и основать новую религию.

– Мама, что ты такое говоришь, какая еще стратегия, – раздался умоляющий голос, – какой отдел рекламы, они же видели в Нем Сына Божия, Мессию...

– Да ладно! Некоторые из тех девиц, что под дождем, на морозе ночи проводят перед отелем, в котором остановился Джексон, тоже думают, что он воплощение Иисуса. Иисус, доченька, это просто идол поп-культуры. А то, что ты рассказываешь, всего лишь легенды. Точно такие же, как о яслях, пастухах со слезами на глазах, о воле и ослике. Потому что историческая правда совсем другая. Не было никакой переписи населения, которая якобы заставила Иосифа и Марию отправиться в Вифлеем. Для того, чтобы понимать это, не надо быть специалистом-теологом, об этом знают все культурные люди.

Она закурила, глубоко затянулась и продолжила:

– Даже если бы такая перепись случилась, то под нее не попали бы такие бедняки, как плотник из Назарета. Переписи подлежали только те, у кого была земля или рабы. Кроме того, перепись должна была проходить в Иерусалиме. А единственная дорога от Назарета в Иерусалим тогда пролежала через долину Иордана. В декабре долина Иордана представляет из себя месиво из грязи по шею высокого мужчины. А Мария, во-первых, не отличалась высоким ростом и была, во-вторых, конечно, если ты помнишь, беременна Иисусом, – кончила она, ехидно улыбаясь.

Она не могла поверить в это. Даже если это правда – а по всей вероятности, так оно и есть, потому что ее мать никогда не грешила против истины, тем более научной, за что и получила докторскую степень в возрасте тридцати четырех лет – даже если всё именно так, то стоило ли говорить это за два дня перед Рождеством, когда ее дочь так прониклась предпраздничным ожиданием и из всех сил верит в это? И так ждет этого дня?

Она помнит, что именно тогда, у этого окна, она решила: никогда не слушать ничего, что мать будет рассказывать ей с присовокуплением слова «доченька». Когда много лет спустя она рассказала об этом разговоре своей лучшей подруге Марте, та, что называется, рубанула со всего плеча:

– Потому что твоя мама как современная гетера. Так в Древней Греции называли образованных и начитанных женщин. В основном такие были одиноки, потому что ни один мужчина не хотел иметь с ними дела. А твоя мать к тому же еще и гетера-воительница, стремящаяся своими силами, самостоятельно объяснить мир. Но это никакая не самостоятельность. Быть самостоятельным и делать всё в одиночку – не одно и то же.

Этот разговор был очень давно, но она всегда вспоминает о нем в сочельник. И об отце вспоминает. Иногда, особенно в последнее время, она прижимается к нему вовсе не из-за нежности или желания быть ближе, или грусти. Прижимается к нему, чтобы своей теплотой смягчить ледяной холод, исходящий от его сверхорганизованной жены. Она думает, что таким образом привяжет его к себе и к дому. Если бы она была мужем своей матери, то уже давным-давно бросила бы ее, не выдержав такого холода. Потому что ее мать умеет быть холодной, как жидкий азот. А он терпит ее и всё еще остается с ними. Она понимала, что делает он это только ради нее.

Вот и сегодня она поступит так же – прижмется к нему и обнимет. Он, как всегда, удивится, положит голову ей на плечо, крепко обнимет, поцелует в шею и шепнет «доченька», а когда они, наконец, отпустят друг друга, она заметит, как он моргает покрасневшими глазами, будто что-то в них попало. И это его нежное «доченька», такое теплое, такое рождественское.

Но сегодня она сделает это просто так, от себя. Потому что сегодня ее переполняет предвкушение праздника. Кроме того, она не знает ни одного мужчины, который хотя бы отдаленно был похож на ее отца. Нет больше таких мужчин.

Вот почему, а еще для того, чтобы было согласие в семье, гармония, и чтобы мать могла поставить галочки в своем органайзере против каждого пункта, запланированного на Рождество, она вынесет мусор. Немедленно. И даже сделает вид, что это доставляет ей большое удовольствие.

Она вышла с двумя полными ведрами. Ветер нес в лицо дождь со снегом. В окнах уже светились елочные гирлянды. Она открыла ключом дверь помойки, толкнула ее ногой и увидела его. Он сидел на картонке, подобрав ноги под себя, прямо у входа, рядом с контейнером, и загораживал руками от ветра свечку, стоявшую на еловой ветке. Пламя свечи отражалось в его глазах, полных слез.

Она встала как вкопанная. Выронила оба ведра, которые с грохотом упали на бетон. Мусор рассыпался. И только она собралась бежать, как услышала тихий голос с хрипотцой:

– Прости, не хотел пугать тебя. Я помогу тебе собрать мусор, – сказал он и стал подниматься.

– Нет! Нет! Не надо! Оставайся там и не подходи ко мне! – закричала она, схватила ведра и выскочила из помойки, с грохотом захлопнув железную дверь.

Она бежала что было сил прямо по грязи газонов, на которых даже весной нет травы, пока не оказалась в подъезде, где столкнулась с отцом. Он доставал письма из почтового ящика. Прижалась к нему.

– Доченька, что случилось?

– Ничего. Испугалась. Просто испугалась. Там какой-то дядька на помойке...

– Какой еще дядька? Что он тебе сделал?

– Ничего не сделал. Просто он там был. Сидел и плакал.

– Так. Всё понятно. Никуда отсюда не уходи. Жди здесь. А я пойду и проверю.

– Нет! Не ходи никуда. Пойдем лучше домой.

Она освободилась из его объятий, поправила волосы и стала подниматься по лестнице. Он взял ведра и пошел следом. Вообще-то они могли подняться на лифте, но ей хотелось успокоиться, прийти в себя. Так, чтобы мать ничего не заметила, когда она вернется домой. А то еще подумает, что у нее дочь истеричка. Отец в порядке, он всё сразу понял. Без разговора. Поэтому и пошел за ней на девятый этаж, занимая по пути рассказами о своем дежурстве в больнице и наслаждаясь доносящимися из-за соседских дверей запахами праздничной готовки. В квартиру она вошла, улыбаясь. Мать ничего не заметила.

Она узнала, как его зовут, когда он на своей машине врезался в «Пунто<sup>11</sup>», в котором Марта ехала на свою свадьбу.

Марта была ее лучшей подругой. Всегда была. Она не помнит такого времени, когда бы Марты не было в ее жизни. Марта останется с ней до конца. Во всех смыслах.

А еще она могла бы с гордостью сказать, что знакома с самой интеллектуальной женщиной этой части Европы, если бы у Марты было время пройти тест на IQ. Но у Марты на такие дела не было ни времени, ни желания. Она использовала свой ум в основном для того, чтобы

---

<sup>11</sup> Суперкомпактный автомобиль фирмы «Фиат».

получать от жизни впечатления. Эта деревенская девчонка (она приехала учиться в Краков из какой-то дыры, где, как она говорила, «телефоны были только у приходского ксёндза и его любовницы») вдруг открыла для себя мир. После года учебы на отделении английской филологии она дополнительно стала изучать философию. Она буквально купалась в культурной жизни Кракова. Без присутствия Марты не обходилось ни одно сколько-нибудь значимое событие в опере, театре, музее, филармонии и клубе.

Именно в клубе познакомилась она с этим якобы художником, красавчиком в кожаных штанах. Второй год он отсиживал третий курс в Академии художеств, но держался с апломбом Энди Уорхола, получающего именную стипендию. Мало того, он еще и был из Варшавы, что подчеркивал при каждом удобном и неудобном случае, оставляя Кракову возможность онеметь, обалдеть и пасть ниц – к ним приехал гений.

Она невзлюбила его с того самого момента, как Марта представила их друг другу в автобусе.

Он развязно развалился на сиденье и громко, так что слышали все пассажиры, говорил о своей персоне. Марта стояла, она стояла, и кашляющая старушка с палочкой тоже стояла рядом. А этот пижон сидел в своих потертых кожаных штанах и читал лекцию о своей роли в современном искусстве.

Удивительно, но Марте это почему-то нравилось. Видать, влюбилась. Похоже, только «химически», однако итоги оказались плачевными. Она кормила его со своей стипендии, покупала гектолитры алкоголя на отложенные ранее средства, даже оплачивала поездки на автобусе, чтобы ему предоставлялась возможность лишний раз блеснуть талантами перед школьницами. Это из-за него она перестала где-либо бывать. А если где и бывала, то пряталась как серая мышка за этим варшавским помелом и восхищенно смотрела на него, когда он рассказывал всем и вся, что сделает в жизни, как только «эта бездарь (это он о профессоре, который вот уже второй раз заваливал его на экзамене), вымещающий злобу на настоящих художниках, избавится от своей врожденной зависти».

Она говорила Марте, чтобы та опомнилась. Просила, умоляла, пугала. Но Марта ничего не слышала: в это время она была как элемент в какой-то химической реакции. Чтобы эта реакция прекратилась, должно было что-то произойти.

И произошло. За пять минут до двенадцати. Практически дословно.

Свадьба Марты была назначена ровно на полдень, в одну из октябрьских пятниц. Они ехали на Мартином «Пунто» в ЗАГС. За рулем была Марта во взятом напрокат свадебном платье. Художник, то есть жених, сидел рядом, потому что не имел водительских прав. Она – официальный свидетель – сидела на заднем сиденье. Марта была возбуждена и пьяна: утром они распили вдвоем полбутылки болгарского коньяка на пустой желудок, пустой от перевозбуждения, когда никакая еда в рот не лезет.

Марта думала, что успеет проскочить перекресток на желтый. Не успела. Раздался грохот, Марта успела крикнуть «Твою мать!», и сразу стало тихо. Он ударил сзади справа. Вина Марты была несомненна.

Художник выскочил из машины, оставив распахнутой дверь. Подошел к той машине, вытащил водителя и молча стал охаживать его кулаками. С кровавыми пятнами на фате и платье, Марта подбежала к художнику и встала между ним и водителем другой машины. Случайный удар художника пришелся на нее, она упала на асфальт, оставив мужчин друг против друга, и тогда художник словил прямой в челюсть.

Она видела всё это, сидя в «Пунто», а когда Марта упала на асфальт, резко распахнула дверцу и вышла из машины, подбежала к лежащей подруге и опустилась рядом с ней на колени. Тут же над Мартой склонился водитель другой машины и забормотал:

– Простите, простите, но я не виноват. Я не хотел этого. У меня был зеленый свет. Он загорелся, и я поехал. Я так сожалею. У меня честно был зеленый. Поверьте мне. Зеленый, зеленый.

Художник встал с земли и что было сил ударил его, опрокинув на Марту. Раздался вой полицейской сирены и властный призыв:

– Всем успокоиться! Все с документами ко мне в машину. Все!

Молодой полицейский указал на «Полонез»<sup>12</sup>, стоявший на островке автобусной остановки.

– У нас нет времени, – крикнул художник, – на двенадцать назначено бракосочетание!

Марта встала с асфальта, подошла к нему и спокойно сказала:

– Не будет никакого бракосочетания. Пойди, попроси у того пана прощения и вали отсюда, говно.

Ей-богу, прямо так и сказала! Это была снова прежняя, привычная Марта. Наконец-то!

Она помнит, что в тот момент смотрела в глаза мужчины из другой машины и понимала – ей знаком этот взгляд.

– Честно, у меня был зеленый. Я очень извиняюсь, но...

Марта сорвала с головы фату, утерла ею окровавленный нос, смяла в руке и бросила на асфальт. Схватила мужчину за руку:

– Да знаю я, что зеленый. И прекратите, наконец, извиняться. Моя страховка покроет все ваши расходы. Вы даже не представляете, что сделали для меня.

Она подошла к нему, приподнялась на цыпочках и поцеловала в щеку.

А он, ошарашенный, стоял, ничего не понимая.

В этот момент она вспомнила, откуда знает его. Это ведь тот самый тип, который сидел на помойке в сочельник.

Художник растворился в толпе зевак, успевших собраться на тротуаре.

– Я помогу вам убрать машину с проезжей части, – сказал мужчина.

Они втроем вытолкали «Пунто» на тротуар.

– Меня зовут Анджей. А вас?

– Марта. А это моя подруга Ада. В смысле Адрианна.

Он посмотрел на нее внимательно. Протянул руку и тихо сказал:

– Анджей. Простите, что тогда в сочельник напугал вас.

Вот просто так взял и сказал! Как будто тот сочельник был неделю назад, а ведь минуло почти два года.

Высокий. Черные волосы зачесаны назад. Широкий шрам на правой щеке и очень тонкие пальцы. Никогда она не встречала мужчину с такими широкими и пухлыми губами. Голос с хрипотцой и низкий. От него исходил аромат, чем-то напоминавший жасмин.

– Я – Ада. Неужели ты помнишь? Ведь это было почти два года назад.

– Помню. Я тогда искал тебя. Долго искал, но не нашел. Хотел попросить у тебя прощения. И вот только сегодня. И эта авария...

Она улыбнулась:

– Не за что извиняться... А чего ты тогда там сидел?

Он не ответил. Отвернулся и заговорил с Мартой. Потом пошел к своей машине, припарковал ее на ближайшем островке безопасности и вернулся к ним. Марта в испачканном кровью свадебном платье приковывала взоры публики. Толпа зевак на тротуаре не расходилась.

Когда они утрясли все формальности в полицейском «Полонезе», он спросил:

– Куда вас отвезти с этого представления?

– Поехали ко мне, – предложила Марта. – Это дело надо отметить.

---

<sup>12</sup> Автомобиль польского производства, отличался относительной дешевизной и надежностью.



По дороге домой заехали в ресторан, где должны были праздновать свадьбу. Узнали, что гости беспрерывно звонят, но Марта и бровью не повела: велела собрать заказанную выпивку и закуску. Всё это они перенесли в машину Анджея и поехали на квартиру к Марте. Она давно не видела подругу такой счастливой.

После нескольких бокалов вина устроили танцы. Она прижалась к Анджею и почувствовала удивительное родство с ним.

Под утро он отвез ее на такси домой. Вышел с ней, проводил до подъезда. Когда они проходили мимо той самой помойки, она подала ему руку. Он нежно сжал ее и больше не выпускал, а перед входом в подъезд поднес к губам и поцеловал.

Она любила его и раньше, но по-настоящему он покориł ее, когда бросился на капот летевшего на него автомобиля.

С того вечера и той ночи после несостоявшейся свадьбы Марты почти всё в ее жизни изменилось. Анджеј нашел ее на следующий день в институте – ждал перед аудиторией. Стоял у стены, смущенно пряча цветы за спиной. Когда она подошла к нему и улыбнулась, он не смог скрыть радости.

С того дня они были вместе. Всё, что было у нее до Анджея, потеряло смысл.

Это она поняла уже неделю спустя. Ее покориł тонкость его чувств и нежность. Позже – уважение, которым он окружил ее. Видимо, из-за уважительного отношения к ней он так долго тянул с первым поцелуем. И это несмотря на то, что она как бы подталкивала его к первому шагу, прикасаясь и ластясь к нему, выходя на эту тему в разговорах, целуя его руку в темноте кинозала. Прошла уйма времени, прежде чем он в первый раз поцеловал ее в губы.

А было это так. Они возвращались от Марты, у которой засиделись после концерта. Последний трамвай, на повороте сила инерции прижала его к ней, и их вместе – к окну. «Ты моя единственная», – прошептал он и поцеловал ее. Они перестали целоваться только когда вагоновожатый объявил, что трамвай едет в депо.

Вот в том самом трамвае она, можно сказать, полюбила его по-настоящему.

Он восхищался тем, что она изучает физику. Считал, что физика «абсолютно базовая и в то же время возвышенная» наука, к тому же исключительно трудная.

С первой же минуты он внимательно слушал ее, слушал всё, что она говорила. И помнил все ее слова. Он мог сидеть на полу напротив, смотреть на нее и часами слушать. Потом, когда они уже стали парой, он мог заниматься с ней любовью, потом встать с постели, пойти на кухню, вернуться с запасом еды и выпивки и проговорить с ней до утра. Правда, иногда ее это раздражало, потому что она была настроена как раз на любовь, а не на разговоры.

Он обожал, когда она описывала ему устройство вселенной, рассказывала об искривлении пространства-времени или объясняла, почему черные дыры никакие не черные. Он тогда с восхищением смотрел на нее и целовал ее руки. А она никак не могла втолковать ему, что в знании и понимании всего этого нет ничего особенного. И уж наверняка это ничуть не труднее, чем подготовить хороший материал для публикации в газете.

Анджеј учился на журналистике. Когда она спросила его, почему именно там, он ответил:

– Чтобы иметь возможность влиять на жизнь с помощью правды.

Как-то раз, размышляя об их отношениях, она попыталась найти тот самый первый момент, когда подпала под его обаяние. Может, подумала она, когда он целый месяц не ел и не мылся, чтобы уподобиться бомжу и провести неделю в приюте для бездомных?

Его статья о приюте прошла в местной прессе, а потом ее цитировали в большинстве польских еженедельников.

А может, это было тогда, когда после репортажа в хосписе для детей он все свои сбережения отдал на ремонт трех палат, «финальных», как называли их медсестры? В «финальных»

лежали детишки, которым оставалось жить всего несколько дней. Он заметил, что у них нет сил даже голову повернуть, чтобы увидеть рисунки и комиксы на стенах – так слабы были они. Подключенные к аппаратам, они видели только потолок. Он сказал это заведующему отделением, а тот высмеял Анджея: «У нас на анестезию средств не хватает, а вы про какие-то комиксы на потолке, смешно». Анджею не было смешно: он купил на все свои деньги краски и кисти, и уговорил студентов Академии художеств разрисовать потолки хосписа героями любимых детских комиксов.

А может, когда она заметила, что он через день ездит в собачий приют и возит туда корм?

У Анджея был пунктик на тему собак. В то время, как его друзья на улице смотрели вслед девушкам, привлекавшим взоры прохожих своей, условно говоря, одеждой (назовем ее так, чтобы не назвать «раздеждой»), Анджей провожал взглядом каждую встречную собаку. Любая из них была для него «потрясающей», «необычной», «прекрасной» или просто «милой». Она тоже любила собак, но не так самозабвенно.

Сейчас она любит всех собак. Может, даже больше, чем он.

Она восхищалась им и страшно ревновала. Хотела, чтобы он принадлежал только ей, чтобы ни одна женщина не смогла узнать его близко, по-настоящему, понять, какой он на самом деле. Она боялась, что любая узнавшая его захочет остаться с ним навсегда.

Он жил в общежитии и никогда не вспоминал в разговорах о доме и родителях. Это слегка удивляло ее и напрягало. Он говорил, что приехал в Краков из Илавы и что когда-нибудь «наверняка свозит ее туда, хотя место там совсем неинтересное». Он избегал разговоров о своем прошлом. И это чувствовалось с первой минуты общения с ним.

А еще ей так и не удалось узнать, что он делал на помойке тогда, в сочельник. Однажды, когда они были в постели, она его попросила шепотом рассказать об этом. Помнит, как он задрожал и как ощутила его слезы, скатившиеся ей на лицо. Тогда она решила, что больше не будет спрашивать об этом. Интерес к его прошлому был для нее скорее праздным любопытством, тем, что не имеет к жизни никакого отношения. Потому что для них началом всего стал его удар в их автомобиль.

То есть у них всё началось с Большого взрыва. Как и Вселенная, шутила она.

О том, с чего началось увлечение им, она часто думала перед тем, как заснуть. Вплоть до того четверга перед длинными майскими выходными.

К тому времени они уже были знакомы почти семь месяцев. Поехали на Хель. Он собирался на заливе учить ее серфингу. Выехали в четверг утром. Погода была прекрасная. В полдень они сделали остановку на пустовавшем лесном паркинге по дороге в Гданьск. Сели отдохнуть на лавочку. Он устроился позади нее и стал покрывать поцелуями ее плечи. Мгновение спустя расстегнул лифчик, снял, подал ей и, не переставая целовать плечи, обхватил ладонями грудь. Она помнит, как дрожала тогда от возбуждения, предвкушения и страха, что не дай бог кто заедет на паркинг. Но больше всего, наверное, от любопытства – а что потом. С тех пор, как она позволила ему делать со своим телом всё, что он захочет, она никогда не знала, что будет дальше.

Он резко встал с лавочки, взял ее за руку и потащил в лес. Она едва успевала за ним. В платье, спущенном до пояса, с лифчиком в руке, с обнаженной грудью она бежала за ним. Не убежали далеко. За первыми же деревьями остановились. Он снял с себя рубашку, расстелил на траве и бережно уложил ее. Целовал ее в губы, потом медленно сполз к бедрам, зубами стянул трусики и уже остался там. Она совсем забыла, что они на паркинге и что их видно со стороны шоссе. Она забыла обо всем. Просто потому что она с ним забывалась. Особенно когда он ее целовал туда.

Он вернулся к ее губам. В этот момент на паркинг въехал автомобиль. Они замерли, лежали, не шелохнувшись, и всё видели и слышали. Из машины вышел невысокий мужчина, вроде приличный, в костюме, подошел к багажнику, из которого доносилось скуление, скло-

нился над ним и достал собаку. На шее собаки была толстая веревка. Мужчина окинул взором паркинг, проверяя, нет ли кого еще. Потом подошел к ближайшему дереву, таща за собой скулящую собаку. Обвязал веревку вокруг ствола и быстренько вернулся в машину.

Того, что произошло потом, она не забудет никогда. Анджей сорвался с места в чем был. Подтягивая штаны, он неся сломя голову через кусты можжевельника к выезду с паркинга. Она встала и, прикрывая платьем грудь, побежала за ним. Анджей наклонился, поднял камень, выбежал на шоссе и встал перед выезжавшей машиной. Остановился и бросил камень. Раздался грохот и визг тормозов. Анджей бросился на капот. Машина остановилась. Анджей слез с капота и рванул дверцу, выволок из машины онемевшего и шокированного водителя.

– Ты, мать твою, сукин сын, как ты мог ее там оставить? Как ты мог?

Он тащил его за шиворот к тому самому дереву, постоянно причитая: «Как ты мог?»

Зрелище не для слабонервных. Анджей весь в крови, стоящая поперек дороги машина с разбитым стеклом и следами крови на белом капоте, осколки стекла, заливающаяся лаем собака и гудки застрявших в пробке водителей.

Подъехала «Скорая». Анджей как раз в тот момент притащил свою жертву к дереву. Собака запрыгала, заливаясь радостным лаем, когда снова увидела хозяина.

Он толкнул мужчину в сторону собаки и тихо сказал, пожалуй, скорее себе, чем кому-то еще:

– Сволочь, как ты мог оставить ее тут.

Обессиленный, он сел под деревом и заплакал.

Сидел и плакал, как тогда, в сочельник на помойке.

Она прикрыла его рубашкой и обняла. Его трясло.

То, что потом произошло на лесном паркинге, до сих пор вызывает у нее дрожь. Приехала полиция. Водитель пострадавшей машины обвинил Анджея в попытке покушения на жизнь. Между тем водители, стоявшие в образовавшейся пробке, каким-то чудом узнали, откуда взялась привязанная к дереву собака. Эта информация вызвала настоящий взрыв негодования и ненависть к ее хозяину. Полиция составляла протокол, а из всех машин летела отборная брань в адрес владельца собаки. Анджей молчал. В какой-то момент к полицейской «Ниссе»<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Микроавтобус польского производства.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.